

Время больших ожиданий

Автор:

Константин Паустовский

Время больших ожиданий

Константин Георгиевич Паустовский

Повесть о жизни #4

...Нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. К ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. Автобиографическая «Повесть о жизни» – это размышления Константина Паустовского, вошедшие в шесть книг. Вниманию читателя предлагается четвертая книга «Время больших ожиданий».

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Время больших ожиданий

Предки Остапа Бендера

В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их

просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади – все эти Привозы, Толчки и Барахолки – превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время о Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц – человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализуют, а нас все равно выкинут.

– Возможны крупные неприятности! – произнес Яша роковым голосом.

Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне невероятно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики – черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли и все восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, – в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарейный, – услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море – великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

– Вот уголь, уголек, уголек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф[1 - Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) – русский советский писатель, соавтор Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева; 1903–1942).] еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе,

со стремянкой и чинил электричество. С этой стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером, работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они всё же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сюперб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже – бесстрашном плуте Остапе Бендере – потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не пропасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно гольшей.

– Вот, – сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, – имею честь представить товарища Торелли – это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

- Торелли или Торичелли? - придиричливо спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

- Торелли, - уныло повторил Володя Головчинер. - Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли - в миру Блюмкис - находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то проиграл стремительную дробь на турецком барабане.

- Позвольте, я переведу, - бесстрастно сказал Володя Головчинер. - Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четверем опытными журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам, может быть, даже дадут аванс - по несколько «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

- Разглашать раньше времени - значит сглазить! - сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

- Тогда, - сказал Торелли, - завтра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье - его он до тех пор держал за спиной - и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

- Да-а, - задумчиво произнес Яша Лифшиц. - «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

- Вы о чем? - спросил Володя.

- О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

- Представьте себе, - сказал Володя, - что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

- Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? - спросил Яша. - Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон – синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься своей щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь, – это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

– Весны не будет, – сказал Яша. – Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

– Куда вы нас ведете? – придиричиво спросил Яша. – Я предчувствую жалкую авантюру.

– Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, – торопливо ответил Торелли. – Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папах. Они даже не посмотрели на нас. Из всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

– Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтоб вы горели огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

- Не отставайте от этой машины, - сердито прошептал нам Торелли. - Тут будет дело!

Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса[2 - Де Рибас Хосе (Дерибас Осип Михайлович; 1749-1800) - русский адмирал. Испанец, с 1772 г. - на русской службе, участник русско-турецкой войны 1787-1791 гг. Руководитель строительства порта и города Одессы.]. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящичков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

- Сюда! Быстро! - сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

- Прежде всего надо выяснить, - сказал он, - что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

- Лучшего учреждения, - пропищал он, - нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

- Слушайте, синьор Торичелли, - сказал он. - Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

- Послушайте, - сказал он, - вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу? Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд[З - Форд - имеется в виду, очевидно, Генри Форд (1863-1947), американский промышленник, один из основателей автомобильной промышленности США.], начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому

населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! – крикнул Торелли. – Жизнь!

– А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? – спросил Яша. – Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

– Ха! – воскликнул Торелли. – И еще раз «ха»! И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

– Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов[4 - Качалов Василий Иванович (1875–1948) – советский актер, народный артист СССР.], – сказал Торелли. – Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, – он показал на меня, – заместителем, товарищ Лифшиц – экономистом, а я – репортером. Но главное – проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка – первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

– Служи дяде! – говорил матрос нарочито грозным голосом. – Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

– Вот прибилась с ночи, – сказал нам матрос, – и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! – ласково сказал он, начал трепать собачку

по спине и приговаривать: – Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга.

Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

– Ах, какой парень! – неожиданно сказал Яша Лифшиц.

– Кто? – спросил Торелли.

– Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топая бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

– Значит, так, – сказал Володя Головчинер. – Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

– Вы что? – спросил он свистящим шепотом. – Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы – и бенц! – прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

– А как? – растерянно спросил Головчинер.

Мы с Яшей тоже опешили.

– Раз не знаете, так положитесь на меня! – высокомерно произнес Торелли. – Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

– Пожалуй, лучше всего будет здесь, – сказал Торелли и толкнул первую же дверь.

Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного помельче: «Завотделом – Головчинер В. Л.».

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брुक бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколот плакат к двери.

– Вот и все! – сказал он и радостно потер руки. – Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы»^[5] – «Веселая вдова» – оперетта Ференца Легара (1870–1948), венгерского

композитора.].

– Черт его дери, – неопределенно сказал Яша. – Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело: норд уже иссякал.

– Мы самозванцы, – опять сказал Яша мрачным голосом. – Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

– Это мне страшно нравится! – воскликнул он. – Браво и бис! Не смешите меня. Где вы видите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

– Вы Спенсер[6 - Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.], Торелли, – сказал Володя. – Кант![7 - Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.] Президент Пуанкаре![8 - Пуанкаре Раймон (1860–1934) – государственный деятель, был президентом Франции в 1913–1920 гг., один из организаторов иностранной интервенции в Советской России в годы гражданской войны.] Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

– Тише! – вдруг сказал злым шепотом Яша. – Хватит паясничать! Кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у Командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских отрядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

– Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

– Да, это я, – осторожно ответил Володя.

– Покорнейше прошу, – сказал комендант, – не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватали другие, более нахальные отделы. Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! – Комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. – Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штука, – он похлопал по маузеру, – тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно

правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное...»[9 - «Сейте разумное, доброе, вечное...» - Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».]

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтение нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

- Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий до бухгалтерии. Назад!! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

- Удерживай!!! Удерживай его, чертяку. А то завалите здание! Удерживай, говорю!..

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громopodobный грохот покотился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топя бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

- Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось. Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

– Видали бугая? – спросил комендант. – Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался если не совсем, то, по крайней мере, наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова слышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро, сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях.

Появление Агина было похоже на выход римского императора Марка Аврелия[10 - Марк Аврелий (121–180) – римский император из династии Антонинов, философ

– представитель позднего стоицизма.] – прекрасного философа и поэта – в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, – учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукоуси и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

– Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! – сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся.

У меня упало сердце.

Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

– Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначавший, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал.

– Ага, понимаю, – сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. – Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и

вышел.

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» – и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно, по-московски, облобызался с нами.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расплзлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнувший хмелем, – необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня было беспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой, без тюфяка койке, сказал мне:

– Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.

– Ну что ж, пойдёмте.

Наутро мы пришли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов, в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

– Я ждал этой исповеди, – сказал он, – но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищён вашей выдумкой, – она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

– Как же вы догадались? – спросил Яша.

– Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть, хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозванный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

Лабиринты из фанеры

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций – в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша – тетя Мотя или тетя Рая, – и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немислимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех «тетушек Моть» из соседних – дружественных или враждебных – учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего

распорядка» были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу – унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату большими, неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюры листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевок – шестьдесят штук, и лист с ними соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

– Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получают удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным, приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда уже больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой.

– Стыдитесь, молодой человек! – говорил он. – Скандальить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, – кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы – «лимонами». Миллиардам присвоили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.

Среди денег, не имевших хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральные карты. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине – не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом баржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась

сомнительным имуществом разных городов – от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

Ячная каша

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) – русский советский писатель, соавтор Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева; 1903–1942).

2

Де Рибас Хосе (Дерибас Осип Михайлович; 1749–1800) – русский адмирал. Испанец, с 1772 г. – на русской службе, участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Руководитель строительства порта и города Одессы.

3

Форд – имеется в виду, очевидно, Генри Форд (1863–1947), американский промышленник, один из основателей автомобильной промышленности США.

4

Качалов Василий Иванович (1875–1948) – советский актер, народный артист СССР.

5

«Веселая вдова» – оперетта Ференца Легара (1870–1948), венгерского композитора.

6

Спенсер Герберт (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.

7

Кант Иммануил (1724–1804) – немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

8

Пуанкаре Раймон (1860–1934) – государственный деятель, был президентом Франции в 1913–1920 гг., один из организаторов иностранной интервенции в Советской России в годы гражданской войны.

9

«Сейте разумное, доброе, вечное...» – Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

Марк Аврелий (121–180) – римський імператор із династії Антонінов, філософ – представник пізнього стоїцизму.

Купити: <https://tellnovel.com/konstantin-paustovskiy/vremya-bol-shih-ozhidaniy>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)